

Литрес ≡ Классика

Лидия Чарская

ЗАПИСКИ
ИНСТИТУТКИ



Лидия Чарская
Записки институтки

«ЛитРес»

1901

Чарская Л. А.

Записки институтки / Л. А. Чарская — «ЛитРес», 1901

Оказавшись вдали от родного дома в строгих стенах закрытого петербургского пансиона, юная провинциалка сталкивается со сложным и непривычным миром. Жесткая дисциплина, суровые классные дамы и холодное поначалу отношение сверстниц становятся для домашней девочки серьезным испытанием. Однако искренность, доброе сердце и готовность прийти на помощь помогают ей перебороть тоску, найти верных подруг и узнать, что за чопорными монастырскими правилами скрываются бурные девичьи восторги, благородные порывы и настоящие драмы.

© Чарская Л. А., 1901

© ЛитРес, 1901

Содержание

Глава I	6
Глава II	8
Глава III	11
Глава IV	14
Глава V	16
Глава VI	18
Глава VII	21
Глава VIII	24
Глава IX	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Лидия Чарская

Записки институтки

Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю.

Автор

Когда веселой чередой
Мелькает в мыслях предо мною
Счастливых лет веселый рой,
Я точно снова оживаю,
Невзгоды жизни забываю
И вновь мирюсь с своей судьбой...

Я вспоминаю дни ученья,
Горячей дружбы увлеченья,
Проказы милых школьных лет,
Надежды силы молодые
И грезы светлые, живые
И чистой юности рассвет...

Глава I Отъезд



В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива, шумят колеса поезда – и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова:

– Христос с тобой, деточка!

Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции.

Бедная, дорогая мама! Как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мною!

Брат Вася не верил, что я уезжаю, до тех пор пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только, при виде всех этих сборов, горько заплакал Вася.

– Не уезжай, не уезжай, Люда, – просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку.

– Люде надо ехать учиться, крошка, – уговаривала его мама, стараясь утешить. – Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу.

Добрая мамочка! Она знала, что приехать ей не удастся – наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого, – но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом!..

Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка; запряженный в нее Гнедко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахара. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня: стряпка Катря с дочуркой Гапкой, Ивась – молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка – моя любимица, верный товарищ наших игр – и, наконец, моя милая старушка няня, с громкими рыданиями провожающая свое «дорогое дитячко».

Я видела сквозь слезы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания «доброй панночке» и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей.

Минута, другая, взмах кнута – и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день, сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною...

На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась.

Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне грудь и клокотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя образком, повесила его мне на шею.

Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целуя ее худенькие, бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез, я обещала ей шепотом:

– Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся.

Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон.

Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной.

Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфетами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось.

В Петербурге нас встретил невзрачный, серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала.

Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела, сквозь стекла ее, шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу, но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни...

Глава II

Новые лица, новые впечатления

Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в X-й улице.

– Это вот и есть институт, – сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце.

Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери... Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной.

– Новенькую-с привезли, доложить прикажете-с княгине-начальнице? – важно, с достоинством спросил швейцар Анну Фоминишну.

– Да, – ответила та, – попросите княгиню принять нас. – И она назвала свою фамилию.

Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам:

– Княгиня просит, пожалуйста.

Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся застланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками; по стенам висели картины в золоченых рамах; на этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка.

Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми как снег волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью.

– Добро пожаловать, – прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке.

– Это маленькая Людмила Влассовская, дочь убитого в последнюю кампанию Влассовского? – спросила начальница Анну Фоминишну. – Я рада, что она поступает в наш институт... Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца.

Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям:

– Ее надо остричь, это не по форме. Аннет, – обратилась она к Анне Фоминишне, – не проводите ли вы ее вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами.

– С удовольствием, княгиня! – поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой, широкой лестнице во второй этаж.

На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую, красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо, с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это – я, Люда, – мелькнуло молнией в моей голове. – Как я не подхожу ко всей этой торжественно-строгой обстановке!»

В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина.

– Матап, Матап идет, и с ней новенькая, новенькая, – сдержанно пронеслось по коридорам.

Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «Матап».

Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали княгине. Взоры всех обращались на меня, меняющуюся в лице от волнения.

Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье, другие рисовали что-то у доски, третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день.

Лишь только Маман вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами.

– Дети, – прозвучал голос княгини, – я привела вам новую подругу, Людмилу Влассовскую, примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями.

– Mademoiselle, – обратилась Маман к даме в синем платье, – вы займетесь новенькой. – Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: – Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками.

Анна Фоминишна послушно простилась со мной.

Мое сердце екнуло. С ней уходила последняя связь с домом.

– Поцелуйте маму, – шепнула я ей, силясь сдержать слезы.

Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей.

Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество.

Я стояла, окруженная толпой девочек – черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но безусловно чужих и далеких.

– Как твоя фамилия? Я не дослышала, – спрашивала одна.

– А зовут? – кричала другая.

– Сколько тебе лет? – приставала третья.

– А ты любишь пирожные? – раздался голос со стороны.

Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов.

– Влассовская, – раздался надо мною строгий голос классной дамы, – пойдемте, я покажу вам ваше место.

Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня.

Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мною месте сидела бледная, худенькая девочка с двумя длинными, блестящими, черными косами.

– Княжна Джаваха, – обратилась классная дама к бледной девочке, – вы покажете Влассовской заданные уроки и расскажете ей правила.

Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза.

– Хорошо, мадмуазель, я все сделаю, – произнес несколько гортанный, с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села.

Я последовала ее примеру.

Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова.

– Ты откуда? – звонко спросила веселая, толстенькая блондинка с вздернутым носиком.

– Из-под Полтавы.

– Ты – хохлушка! Ха-ха-ха!.. Она, mesdames, хохлушка! – разразилась она веселым раскатистым смехом.

– Нет, – немного обиженным тоном ответила я, – у мамы там хутор, но мы сами петербургские... Только я там родилась и выросла.

– Неправда, неправда, ты – хохлушка, – не унималась шалунья. – Видишь, у тебя и глаза хохлацкие и волосы... Да ты постой... ты – не цыганка ли? Ха-ха-ха!.. Правда, она – цыганка, mesdames?

Мне, уставшей с дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась.

– Оставьте ее, – раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. – Хохлушка она или цыганка, не все ли равно?.. Ты – глупая хохотунья, Бельская, и больше ничего, – прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. – Марш по местам! Новенькой надо заниматься.

– Джаваху, Ниночка Джаваху желает изображать покровительницу новенькой... – зашумели девочки. – Бельская, слышишь? Попробуй-ка «нападать», – поддразнивали они Бельскую.

– Куда уж нам с сиятельными! – с досадой ответила та, отходя от нас.

Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу.

– Ты не обращай на них внимания; знаешь, – сказала она мне тихо, – эта Бельская всегда «задирает» новеньких.

– Как вас зовут? – спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном.

– Я – княжна Нина Джаваху-алы-Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подругами?

И она протянула мне свою тоненькую ручку.

– О, с удовольствием! – поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину.

– Нет, нет, не люблю нежностей! У всех институток привычка лизаться, а я не люблю! Мы лучше так... – И она крепко пожала мою руку. – Теперь я тебе покажу, что задано на завтра.

Пронзительный звонок не дал ей закончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.

Глава III

Уроки

Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза.

– Он предобрый, этот monsieur Ротье, – как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. – Зато немец – злока, – так же тихо прибавила она, сев на место.

– У нас – новенькая, une nouvelle eleve (новая ученица), – раздался среди полной тишины возглас Бельской.

– Ah? – спросил, не поняв, учитель.

– Taisez-vous, Bielsky (молчите, Бельская), – строго остановила ее классная дама.

– Всюду с носом, – сердито проговорила Нина и передернула худенькими плечиками.

– Mademoiselle Ренн, – вызвал француз, – voulez-vous repondre votre lecon (отвечайте урок).

Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно, вяло пошла на середину класса.

– Это – Катя Ренн, – поясняла мне моя княжна, – страшная лентяйка, последняя ученица.

Ренн отвечала басню Лафонтэна, сбиваясь на каждом слове.

– Tres mal (очень плохо), – коротко бросил француз и поставил Ренн единицу.

Классная дама укоризненно покачала головой, девочки зашевелились.

Тою же ленивой походкой Ренн совершенно равнодушно пошла на место.

– Princesse Djavaha, allons (княжна Джаваха), – снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине.

Нина встала и вышла, как и Ренн, на середину класса. Милый, несколько гортанный голос звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая.

– Merci, mon enfant (благодарю, дитя мое), – еще ласковее произнес старик и кивнул девочке.

Она повернулась ко мне, – прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину.

Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Предо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех.

– Он вам поставил двенадцать? – шепотом обратилась я к княжне.

Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 – лучший балл.

– Не говори мне «вы». Ведь мы – подруги, – и Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила: – Скоро звонок – конец урока, мы тогда с тобой поболтаем.

Француз отпустил на место девочку, читавшую ему все ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу «новенькой», вызвал наконец и меня, велел прочесть по книге.

Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к Нине шутивно:

– Prenez garde, petite princesse, vous aurez une rivale (берегитесь, княжна, у вас будет соперница), – и, кивнув мне еще раз, отпустил на место.

В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса.

Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки.

Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто ее не слушал; все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались.

– Антонина Вадимовна, – кричала Бельская, обращаясь к учительнице, – я написала «красивый монумент». Что дальше?

– Сейчас, сейчас, – откликнулась та и спешила от скамейки к скамейке.

Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, княжна Джаваха, склонив головку набок, старательно выводила какие-то каракульки.

Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом: «Mettez-vous par paires, mesdames» (становитесь в пары).

– Нина, можно с тобой? – спросила я княжну, становясь рядом с ней.

– Я выше тебя, мы не под пару, – заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. – Впрочем, постой, я попрошу классную даму.

Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как m-lle Арно (так звали наставницу) тотчас же согласилась на ее просьбу.

Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву.

– Новенькая, новенькая, – раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в «собственное» скромное коричневое платьице, резким пятном выделявшееся среди зеленых камлотовых платьев и белых передников – обычной формы институток.

Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый.

Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой – Маня Иванова – веселая, бойкая шатенка с коротко остриженными волосами.

– Власовская, ты не будешь есть твой биток? – на весь стол крикнула Бельская. – Нет? Так дай мне.

– Пожалуйста, возьми, – поторопилась я ответить.

– Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже, – строго заявила Джаваха, и глаза ее сердито блеснули. – Как тебе не стыдно кланчить, Бельская! – прибавила она.

Бельская сконфузилась, но ненадолго: через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему «столу»:

– Mesdames, кто хочет меняться – биток за сладкое?

Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки... Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хуторе так мастерски готовила Катря.

– Ешь, Люда, – тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне.

Но я есть не могла.

– Смотрите на Ренн, mesdames'очки, она хотя и получила единицу, но не огорченанисколько, – раздался чей-то звонкий голосок в конце стола.

Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Ренн без передника стояла на глазах всего института.

– Она наказана за единицу, – продолжал тот же голосок.

Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка, лет восьми на вид.

– Разве таких маленьких принимают в институт? – спросила я Нину, указывая ей на девочку.

– Да ведь Крошка совсем не маленькая – ей уже одиннадцать лет, – ответила княжна и прибавила: – Крошка – это ее прозвище, а настоящая фамилия ее – Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все «синявки» к ней подлизываются.

– Кого вы называете «синявками»? – полюбопытствовала я.

– Классных дам, потому что они все носят синие платья, – тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за «бламанже», отдающее стеарином.

Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы.

– Ниночка, хочешь смоквы и коржиков? – спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней.

Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле... Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мной как в тумане.

Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала.

Ниночка сразу поняла, о чем я плачу.

– Полно, Галочка, брось... Этим не поможешь, – успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. – Тяжело первые дни, а потом привыкнешь... Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну. И ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился. Бежать хотела... А теперь как дома... Как взгрустнется, песни пою... наши родные кавказские песни... и только. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее...

Гортанный голосок княжны с заметным кавказским произношением приятно ласкал меня; ее рука лежала на моей кудрявой головке – и мои слезы понемногу иссыкли.

Через минут десять мы уже уписывали принесенные снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу. Но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказывала ей о Гнедке, Милке, о Гапке и махровых розах, которые вырастил Ивась. О маме, няне и Васе я боялась говорить, они слишком живо рисовались моему воображению: при воспоминании о них слезы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слез.

Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами.

Незаметно пробежал вечер. В восемь часов звонок на молитву прервал наши беседы.

Мы попарно отправились в спальню, или «дортуар», как она называлась на институтском языке.

Глава IV В дортуаре

Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей – дортуар – освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов.

– Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна? – спросила классная дама.

– Да, m-lle, Федорова больна и переведена в лазарет.

Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной.

Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как стлать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкафчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы.

Я невольно залюбовалась ей.

– Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка! – не утерпела я.

– У нас на Кавказе почти у всех такие, и у мамы были такие, и у покойной тети тоже, – с какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. – А это кто? – быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца.

– Это мой папа, он умер, – грустно отвечала я.

– Ах да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Мамап уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга – дочь героя. Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный... и тоже очень, очень храбрый; он – в Дагестане... а мама умерла давно... Она была такая ласковая и печальная... Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка; папа взял ее прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскуя по семье, и потом умерла. Я помню ее, какая она была красивая! Мы очень богаты!.. На Кавказе нас все-все знают... Папа уже давно начальник – командир полка. У нас на Кавказе большое имение. Там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая... Она бранила меня за все, за все... Галочка, – спросила она вдруг другим тоном, – ты никогда не скакала верхом? Нет? А вот меня папа выучил... Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной, у него много дел. Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моем Шалом... Дух замирает... Или скакать по долине рядом с папой... Я очень хорошо езжу верхом. А глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про все это.

Нина воодушевилась... В ней сказывалась южанка. Глазки ее горели как звезды.

Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой, я – боявшаяся сесть на Гнедка.

– Пора спать, дети, – прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с дортуаром комнаты.

М-lle Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дортуар погрузился в полумрак.

Девочки с чепчиками на головах, делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях.

Нина стояла на молитве перед образком, висевшим на малиновой ленточке в изголовье кровати, и молилась.

Я попробовала последовать ее примеру и не могла. Мама, Вася, няня – все они, мои дорогие, стояли как живые передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий, ребяческий голосок Васи, просивший: «Не уезжай, Люда», – и мне стало так

тяжело и больно в этом чужом мне, мрачном дортуаре, между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала.

Я плакала долго, искренно, тихо повторяя милые имена, называя их самыми нежными названиями. Я не слышала, как m-lle Арно, окончив свой обход, ушла к себе в комнату, и очнулась только тогда, когда почувствовала, что кто-то дергает мое одеяло.

– Ты опять плачешь? – тихим шепотом произнесла княжна, усевшись у моих ног.

Я ничего не ответила и еще судорожнее зарыдала.

– Не плачь же, не плачь... Давай поболтаем лучше. Ты свесься вот так, в «переулок» (переулком назывались пространства между постелями).

Я подавила слезы и последовала ее примеру.

В таинственном полумраке дортуара долго за полночь слышался наш шепот. Она спрашивала меня о доме, о маме, Васе. Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овес, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая Гапка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как Гнедко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Она слушала меня с любопытством. Все это было так ново для маленькой княжны, знавшей только свои горные теснины Кавказа да зеленые долины Грузии. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями... С особенным увлечением она рассказывала про своего отца. О, она горячо любила своего отца и ненавидела бабушку, отдавшую ее в институт... Ей было здесь очень тоскливо порою...

– Скорее бы прошли эти скучные дни... – шептала Нина. – Весной за мной приедет папа и увезет меня на Кавказ... Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам... – восторженно говорила она, и я видела, как разгорались в темноте ее черные глазки, казавшиеся огромными на матово-бледном лице.

Мы уснули поздно-поздно, каждая уносясь мечтами на свою далекую родину...

Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений.

Мне снился хутор в жаркий, ясный, июльский день... Наливные яблоки на тенистых деревьях нашего сада, Милка, изнывающая от летнего зноя у своей будки... а на крылечке за большими корзинами черной смородины, предназначенной для варенья, – моя милая, кроткая мама. Тут же и няня, расчесывающая по десять раз в день кудрявую головенку Васи. «Но где же я, Люда?» – мелькнуло у меня в мыслях. Неужели эта высокая стриженная девочка в зеленом камлотовом платье и белом переднике – это я, Люда, маленькая панночка с Влассовского хутора? Да, это – я, тут же со мной бледная княжна Джаваха... А кругом нас цветы, много-много колокольчиков, резеды, левкоя... Колокольчики звенят на весь сад... и звон их пронзительно звучит в накаленном воздухе...

– Вставай же, соня, пора, – раздался над моим ухом веселый окрик знакомого голоса.

Я открыла глаза.

Звонок, будивший институток, заливался неистовым звоном. Туманное, мгlistое утро смотрело в окна...

В дортуаре царило большое оживление.

Девочки, перегоняя друг друга, в тех же смешных чепчиках и кофточках, бежали в умывальню. Все разговаривали, смеялись, рассказывали про свои сны, иные повторяли наизусть заданные уроки. Шум стоял такой, что ничего нельзя было разобрать.

Институтский день вступал в свои права.

Глава V

Немецкая дама. Гардеробная

Торопясь и перегоняя друг друга, девочки бежали умываться к целому ряду медных кранов у стены, из которых струилась вода.

– Я тебе заняла кран, – крикнула мне Нина, подбирая на ходу под чепчик свои длинные косы.

В умывальной был невообразимый шум. Маня Иванова приставала к злополучной Ренн, обдавая ее брызгами холодной воды. Ренн, выйдя на этот раз из своей апатии, сердилась и выходила из себя.

Крошка мылась подле меня, и я ее разглядела... Действительно, она не казалась вблизи такой деточкой, какую я нашла ее вчера. Бледное, худенькое личико в массе белокурых волос было сердито и сонно; узкие губы плотно сжаты; глаза, большие и светлые, поминутно загорались какими-то недобрыми огоньками. Крошка мне не нравилась.

– Медамочки, торопитесь! – кричала Маня Иванова и, хохоча, проводила зубной щеткой по оголенным спинам мывшихся под кранами девочек. Нельзя сказать, чтобы от этого получалось приятное ощущение. Но Нину Джаваху она не тронула.

Вообще, как мне показалось, Нина пользовалась исключительным положением между институтками.

Вбежала сонная, заспанная Бельская.

– Пусти, Влассовская, ты после вымоешься, – несколько грубо сказала она мне.

Я покорно уступила было мое место, но Нина, подоспевшая вовремя, накинулась на Бельскую.

– Кран занят мной для Влассовской, а не для тебя, – строго сказала она той и прибавила, обращаясь ко мне: – Нельзя же быть такой тряпкой, Галочка.

Мне было неловко от замечания Нины, сделанного при всех, но в то же время я была бесконечно благодарна милой девочке, взявшей себе в обязанность защищать меня.

К восьми часам мы уже все были готовы и становились в пары, чтобы идти на молитву, когда в дортуар вошла новая для меня классная дама, фрейлейн Генинг, маленькая, полная немка с добродушной физиономией. Она была совершенной противоположностью сухой и чопорной m-lle Арно.

– Ах, новенькая!.. – воскликнула она, и ее добрые глаза засияли лаской. – Komm herr, mein Kind (подойди сюда, дитя мое).

Я подошла, неистово краснея, и молча присела перед фрейлейн.

Но каково же было мое изумление, когда классная дама наклонилась ко мне и неожиданно поцеловала меня... В горле моем что-то защекотало, глаза увлажнились, и я чуть не разрыдалась навзрыд от этой неожиданной ласки.

– Видишь, какая она у нас добрая, – шепнула мне Маня Иванова, заметя впечатление, произведенное на меня наставницей.

Мы сошли в столовую. После молитвы, длившейся около получаса (сюда же входило обязательное чтение двух глав Евангелия), каждая из иноверных воспитанниц прочла молитву на своем языке. Когда читала молитву высокая, белокурая, с водянистыми глазами шведка, я невольно обратила внимание на стоявшую подле меня Нину. Княжна вся вспыхнула от радости и прошептала:

– Она выздоровела, ты знаешь?

– Кто выздоровел? – шепотом же спросила я ее.

– Ирочка... ах! да, ведь ты ничего не знаешь; я тебе расскажу после. Это – моя тайна.

И она стала горячо молиться.

За чаем Нина сидела как на иголках, то и дело поглядывая на дальние столы, где находились старшие воспитанницы и пепиньерки. Она, видимо, волновалась.

– Когда ж ты мне откроешь свою тайну? – допытывалась я.

– В дортуаре... Фрейлейн уйдет, и я тебе все расскажу, Галочка.

До начала уроков оставалось еще полчаса, и мы, поднявшись в класс, занялись диктовкой.

Едва я тщательно вывела обычную немецкую фразу: «Wie schon ist die grune Viese» (как прекрасен зеленый луг), как на пороге появилась девушка-служанка, позвавшая меня в гардеробную.

– Gehe, mein Kind (ступай, дитя мое), – ласково отпустила меня фрейлейн, и я в сопровождении девушки спустилась в нижний этаж, где около столовой, в полутемном коридоре, помещались бельевая и гардеробная, сплошь заставленная шкафами. В последней работало до десяти девушек, одетых, как и моя спутница, в холстинковые полосатые платья и белые передники. На столах были беспорядочно набросаны куски зеленого камлота, старого и нового, а между девушками сновала полная дама, Авдотья Петровна Крынкина, с сантиметром на шее. Это была сама «гардеробша» – как ее называли девушки.

– Вы – новенькая? – недружелюбно поглядывая на меня поверх очков, задала она мне довольно праздный, по моему мнению, вопрос, так как мое «собственное» коричневое платье наглядно доказывало, что я была новенькая.

Я присела.

Не избалованная вежливым обращением, старуха смягчилась.

Она еще раз посмотрела на меня пристальным взглядом, смерив с головы до ног.

– Я вам дам платье с институтки Раевской, которую выключили весной: новое шить недосуг, – ворчливым голосом сказала она мне и велела раздеться.

– Маша, – обратилась она к пришедшей со мной девушке, – сбегай-ка к кастелянше и спроси у нее белье и платье номер 174, знаешь, – Раевской; им оно будет впору.

Девушка поспешила исполнить поручение.

Через полчаса я была одета с головы до ног во все казенное, а мое «собственное» платье и белье, тщательно сложенное девушкой-служанкой, поступило на хранение в гардероб, на полку, за номером 174.

– Запомните этот номер, – резко сказала Авдотья Петровна, – теперь это будет ваш номер все время, пока вы в институте.

Едва я успела одеться, как пришел парикмахер с невыразимо душистыми руками и остриг мои иссиня-черные кудри, так горячо любимые мамой. Когда я подошла к висевшему в простенке гардеробной зеркалу, я не узнала себя.

В зеленом камлотовом платье с белым передником, в такой же пелеринке и «манжах», с коротко стриженными кудрями, я совсем не походила на Люду Власовскую – маленькую «панночку» с далекого хутора.

«Вряд ли мама узнает меня», – мелькнуло в моей стриженной голове, и, подняв с пола иссиня-черный локон, я бережно завернула его в бумажку, чтобы послать маме с первыми же письмами.

– Совсем на мальчика стали похожи, – сказала Маша, разглядывая мою потешную маленькую фигурку.

Я вздохнула и пошла в класс.

Глава VI

Сад. Тайна Нины. Ирочка Трахтенберг

Едва я переступила порог, как в классе поднялся шум и гам. Девочки, шумя и хохоча, окружили меня, пользуясь переменой между двух уроков.

– Ну, Галочка, ты совсем мальчишка, – заявила серьезно Нина, – но знаешь, ты мне так больше нравишься, – кудри тебя портили.

– Стрижка-ерыжка! – крикнула Бельская.

– Молчи, егоза, – заступилась за меня Маня Иванова, относившаяся ко мне с большой симпатией.

Следующие два урока были рисование и немецкий язык. Учитель рисования роздал нам карточки с изображением ушей, носов, губ. Нина показала мне, что надо делать, как надо срисовывать. Учитель – добродушнейшее, седенькое существо – после первой же моей черточки нашел меня очень слабой художницей и переменял карточку на менее сложный рисунок.

В то время как я, углубившись в работу, выводила палочки и углы, ко мне на пюпитр упала бумажка, сложенная вчетверо. Я недоумевающе развернула ее и прочла:

«Душка Влассовская! У тебя есть коржики и смоквы. Поделись после завтрака.

Маня Иванова».

– От кого это? – полюбопытствовала княжна.

– Вот прочти, – и я протянула ей бумажку.

– Иванова ужасная подлиза, хуже Бельской, – сердито заметила княжна, – она узнала, что у тебя гостинцы, и будет нянчиться с тобой. Советую не давать... А то как хочешь... Пожалуй, еще прослывешь жадной. Лучше уж дай.

Я повернула голову и, увидя Иванову, сидевшую возле Ренн на последней скамейке, кивнула ей в знак согласия. Та просияла и усиленно закивала головой.

Презрительная гримаска тронула строгие губы моей соседки. Гордое бескорыстие княжны нравилось мне все больше и больше.

– Нина, а твоя тайна? – напомнила я ей.

– Подожди немного, на гулянье, а то здесь услышат.

Я сгорала от нетерпения, однако не настаивала.

Урок рисования сменился уроком немецкого языка.

Насколько учитель-француз был «душка», настолько немец – «аспид». Класс дрожал на его уроке. Он вызывал воспитанниц резким, крикливым голосом, прослушивал заданное, поминутно сбивая и прерывая замечаниями, и немилосердно сыпал единицами. Класс вздохнул свободно, заслыша желанный звонок.

После завтрака, состоявшего из пяти печеных картофелин, куска селедки, квадрата масла и кружки кофе с бутербродами, нам роздали безобразные манто коричневого цвета, называемые клеками, с лиловыми шарфами и повели в сад. Большой, неприветливый, с массой дорожек, он был окружен со всех сторон высокой каменной оградой. Посреди площадки, прилегавшей к внутреннему фасаду института, стояли качели и качалка.

Едва мы сошли со ступеней крыльца, как пары разбились и воспитанницы разбрелись по всему саду.

– Фрейлейн в свое дежурство позволяет ходить на последнюю аллею, – почему-то шепотом сообщила Нина, – пойдем, Галочка.

Я последовала за ней на самую дальнюю дорожку, где нам попадались редкие пары гуляющих. Под нашими ногами шелестели упавшие листья... Там и сям каркали голодные вороны.

Мы сели на влажную от дождя скамейку, и Нина начала:

– Видишь ли, Галочка, у нас ученицы младших классов называются «младшими», а те, которые в последних классах, – это «старшие». Мы, младшие, «обожаем» старших. Это уже так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе «душку», подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней в зале, угощает конфетами и знакомит со своими родными во время приема, когда допускают родных на свидание. Вензель «душки» вырезывается перочинным ножом на «тируаре» (пюпитре), а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами ее номер, потому что каждая из нас в институте записана под известным номером. А иногда имя «душки» пишется на стенах и окнах... Для «душки», чтобы быть достойной ходить с ней, нужно сделать что-нибудь особенное, совершить, например, какой-нибудь подвиг: или сбегать ночью на церковную паперть, или съесть большой кусок мела, – да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость. Я никогда не обожала еще, Галочка, я была слишком горда, но недавно-недавно... – тут вдруг прервала она: – Побожись мне три раза, что ты никому не выдашь мою тайну.

– Изволь, – и я исполнила ее желание.

– Видишь ли, – продолжала Нина оживленно, – незадолго до твоего поступления к нам я была больна лихорадкой и сильно кашляла. Пока я лежала в жару, в мое отделение привели еще одну больную, старшую, Ирочку Трахтенберг. Она так ласково обращалась со мной, ничем не давая мне понять, что я младшая, «седьмушка», а она первоклассница. Мы вместе поджаривали хлеб в лазаретной печке, целые ночи болтали о доме. Ирочка – шведка, но ее родители живут теперь здесь, в Петербурге; она непременно хочет познакомить меня с ними. Ее отец, кажется, консул или просто член посольства – не знаю, только что-то очень важное. Ирочка почему-то молчит, когда я ее об этом спрашиваю. У них под Стокгольмом большой замок. Ах, Галочка, какая она милочка, дуся! Какие у нее глаза, синие, синие... и волосы, как лен! Впрочем, ты сама сейчас увидишь. Только ты никому, никому не говори, Галочка, о моем обожании, а то Бельская и Крошка поднимут меня на смех. А я этого не позволю: княжна Джаваха не должна унижать себя.

Последние слова Нина произнесла с гордым достоинством, делавшим особенно милым ее красивое личико.

– Теперь ты увидишь «душку»!.. – таинственно сообщила она мне.

В последнюю аллею стали приходиться старшие, в таких же безобразных клеках, как и наши, но на их тщательно причесанных головках были накинута вместо полинялых лиловых косынок «собственные» шелковые шарфы разных цветов.

Они разгуливали чинно и важно и разговаривали шепотом.

– Смотри, вот она, – и Нина до боли сжала мне руку.

В конце аллеи появились две институтки в возрасте от 16 до 18 лет каждая. Одна из них темная и смуглая девушка с нечистым цветом лица, другая – светлая льняная блондинка.

– Вот она, Ирочка, – волнуясь, шептала княжна, указывая на блондинку, – с ней Анята Михайлова, ее подруга.

Девушки поравнялись с нами, и я заметила надменно вздернутую верхнюю губку и бесцветные, водянистые глаза на прозрачно-хрупком, некрасивом личике.

– Это и есть твоя Ирочка? – спросила я.

– Да, – чуть слышно, взволнованным голосом ответила княжна.

«Душка» Нины мне не понравилась. В ее лице и фигуре было что-то отталкивающее. А она, моя милая княжна, вся вспыхнув от удовольствия, подошла поцеловать Ирочку, ничуть не стесняясь ее подруги, очевидно, посвященной в тайну... Белокурая шведка совершенно равнодушно ответила на приветствие княжны.

– Ты ее очень любишь? – спросила я Нину, когда молодые девушки были далеко от нас.

– Ужасно, Галочка! Я ее люблю первой после папы!.. За нее я готова претерпеть все гонения «синявок»... Я ее буду обожать до самого выпуска.

Все это было сказано так восторженно-пылко, что у меня на душе, где-то далеко-далеко, зашевелилось незнакомое мне до сих пор чувство ревности. Я ревновала мою милую, славную подружку к «белобрысой» шведке, как я уже мысленно окрестила Ирочку Трахтенберг.

Глава VII

Суббота. В церкви. Письмо

Прошло шесть дней с тех пор, как стены института гостеприимно приняли меня. Наступила суббота, так страстно ожидаемая всеми институтками, большими и маленькими. С утра субботы уже пахло предстоящим праздничным днем. Субботний обед был из ряда вон плох, что нимало не огорчало институток: в воображении мелькали завтрашние пирожные, карамели, пастилки, которые приносились «в прием» добрыми родными. Надежда на приятное «немецкое» дежурство в воскресенье тоже немало способствовала общему оживлению. М-лле Арно, Пугач, как ее называли институтки, была дружно презираема ими; за то милая, добрая Булочка, или Кис-Кис, – фрейлейн Генинг – возбуждала общую симпатию своим ласковым отношением к нам.

В половине шестого нас отвели наверх в дортуар и приказали переодеться перед всенощной в чистые передники.

За последние шесть дней я не жила, а точно неслась куда-то, подгоняемая все новыми и новыми впечатлениями. Моя дружба с Ниной делалась все теснее и неразрывнее с каждым днем. Странная и чудная девочка была эта маленькая княжна! Она ни разу не приласкала меня, ни разу даже не назвала Людой, но в ее милых глазках, обращенных ко мне, я видела такую заботливую ласку, такую теплую привязанность, что моя жизнь в чужих, мрачных институтских стенах становилась как бы сноснее.

В тот день мы решили после «спуска газа», то есть после того как погасят огонь, поболтать о «доме». Нина плохо себя чувствовала последние два дня; ненастная петербургская осень отразилась на хрупком организме южанки. Миндалевидные черные глазки Нины лихорадочно загорались и тухли поминутно, синие жилки бились под прозрачно-матовой кожей нежного виска. Сердитый Пугач не раз заботливо предлагал княжне «отдохнуть» день-другой в лазарете.

– Ни за что! – говорила она мне своим милым гортанным голоском. – Пока ты не привыкнешь, Галочка, я тебя не оставлю.

Мне хотелось в эти минуты броситься на шею моей добровольной покровительнице, но Нина не терпела «лизанья», и я сдерживалась.

Суббота улыбалась нам обеим. Мы еще за три дня решили посвятить время после церкви на писание писем домой.

Ровно в шесть часов особенный, тихий и звучный продолжительный звонок заставил нас быстро выстроиться в пары и по нашей «парадной» лестнице подняться в четвертый этаж.

На церковной площадке весь класс остановился и, как один человек, ровно и дружно опустился на колени. Потом, под предводительством m-лле Арно, все чинно по парам вошли в церковь и встали впереди, у самого клироса, с левой стороны. За нами было место следующего, шестого класса.

Небольшая, но красивая и богатая институтская церковь сияла золоченым иконостасом, большими образами в золотых ризах, украшенных камнями, с пеленами, вышитыми воспитанницами. Оба клироса пока еще пустовали. Певчие воспитанницы приходили последними. Я рассматривала и сравнивала эту богатую по убранству церковь с нашим бедным, незатейливым деревенским храмом, куда каждый праздник мы ездили с мамой... Воспоминания разом нахлынули на меня...

Вот славный весенний полдень... В нашей церкви служба по случаю праздника Св. Троицы. На коврике с правой стороны, подле стула, склонилась милая головка мамы... Она, в своем сереньком простом оческовом «параде», с большим букетом белой сирени в руках,

казалась мне такой нарядной, молодой и красивой. Рядом Вася, в новой красной канаусовой рубашечке и бархатных штанишках навыпуск, с нетерпением ожидал причастия... Я, Люда, в скромном и изящном белом платье маминой работы, с тщательно расчесанными кудрями... Невдалеке Гапка, обильно напомаженная коровьим маслом, в ярком розовом ситце... Сзади нас старушка няня, кряхтя и вздыхая, отбивает поклоны... А в открытые окна просятся развесистые яблони, словно невесты, разукрашенные белыми цветами... Тонкий и острый аромат черемухи наполняет церковь...

Наш деревенский старичок священник – мой духовник и законоучитель, – еле внятно произносивший шамкающим ртом молитвы, и несложный причт, состоящий из сторожа, дьячка и двух семинаристов в летнее время, племянников отца Василия, тянущих в нос, – все это резко отличалось от пышной обстановки институтского храма.

Здесь, в институте, не то... Пожилой, невысокий священник с кротким и болезненным лицом – кумир целого института за чисто отеческое отношение к девочкам – служит особенно выразительно и торжественно. Сочные молодые голоса «старших» звучат красиво и стройно под высокими сводами церкви.

Но странное дело... Там, в убогой деревенской церкви, забившись в темный уголок, я молилась горячо, забывая весь окружающий мир... Здесь, в красивом институтском храме, молитва стыла, как говорится, на губах, и вся я замирала от этих дивных, как казалось мне тогда, голосов, этой величавой торжественной службы...

Около меня все та же неизменная Нина, подняв на ближайший образ Спаса свои черные глазки, горячо молилась...

Я невольно поддаюсь ее примеру, и вдруг меня самое внезапно охватило то давно мне знакомое религиозное чувство, от которого глаза мои наполнились слезами, а сердце билось усиленным темпом.

Я очнулась, когда соседка слева, Надя Федорова, толкнула меня под локоть.

Мы с Ниной поднялись с колен и посмотрели друг на друга сияющими сквозь радостные слезы глазами.

– О чем ты молилась, Галочка? – спросила она меня, осветленное личико ее улыбалось.

– Я, право, не знаю, как-то вдруг меня захватило и понесло, – смущенно ответила я.

– Да и меня тоже...

И мы тут же неожиданно крепко поцеловались. Это был первый поцелуй со времени нашего знакомства...

Придя в класс, усталые девочки расположились на своих скамейках.

Я вынула бумагу и конверт из «тируара» и стала писать маме. Торопливые, неровные строки говорили о моей новой жизни, институте, подругах, о Нине. Потом маленькое сердечко Люды не вытерпело, и я вылилась в этом письме на дальнюю родину вся без изъятия, такая, как я была, – порывистая, горячая и податливая на ласку... Я осыпала мою маму самыми нежными названиями, на которые так щедра наша чудная Украина: «серденько мое», «ясочка», «гарная мамуся» писала я и обливала мое письмо слезами умиления. Испещрив четыре страницы неровным детским почерком, я раньше, нежели запечатать письмо, понесла его, как это требовалось институтскими уставами, m-lle Арно, торжественно восседавшей на кафедре. Пока классная дама пробегала вооруженными пенсне глазами мои самым сердцем диктованные строки, я замирала от ожидания – увидеть ее прослезившеюся и растроганною, но каково же было мое изумление, когда «синявка», окончив письмо, бросила его небрежным движением на середину кафедры со словами:

– И вы думаете, что вашей маман доставит удовольствие читать эти безграмотные каракули? Я подчеркну вам синим карандашом ошибки, постарайтесь их запомнить. И потом, что за нелепые названия даете вы вашей маме?.. Непочтительно и неделикатно. Душа моя, вы напишете другое письмо и принесете мне.

Это была первая глубокая обида, нанесенная детскому сердечному порыву... Я еле сдержалась от подступивших к горлу рыданий и пошла на место.

Нина, слышавшая все происшедшее, вся изменилась в лице.

– Злюка! – коротко и резко бросила она почти вслух, указывая взглядом на m-lle Арно.

Я замерла от страха за свою подругу. Но та, нисколько не смущаясь, продолжала:

– Ты не горюй, Галочка, напиши другое письмо и отдай ей... – и совсем тихо добавила: –

А это мы все-таки пошлем завтра... К Ирочке придут родные, и они опустят письмо. Я всегда так делала. Не говори только нашим, а то Крошка наябедничает Пугачу.

Я повеселела и, приписав, по совету княжны, на прежнем письме о случившемся только что эпизоде, написала новое, почтительное и холодное только, которое было благосклонно принято m-lle Арно.

Глава VIII

Прием. Силюльки. Черная монахиня

Утро воскресенья было солнечное и ясное. Открыв заспанные глаза и увидя приветливое солнышко, я невольно вспомнила другое такое утро, когда, глубоко потрясенная предстоящей разлукой, я садилась в деревенскую линейку между мамой и Васей...

Сладко потягиваясь, стала я одеваться. Некоторые из девочек встали «до звонка», будившего нас в воскресные и праздничные дни на полчаса позже.

Крошка и Маня Иванова – две неразлучные подруги – чинно прохаживались по «среднему» переулку, то есть по пространству между двумя рядами кроватей, и о чем-то шептались.

Обе девочки туго заплели волосы на ночь в мелкие косички и в чистых передниках, тщательно причесанные, выглядели очень празднично. Подле меня, широко раскинувшись на постели, безмятежно спала моя Нина.

– Сегодня у нас чай с розанчиками, – неожиданно выкрикнул чей-то звонкий голосок, разбудивший княжну.

– Влассовская, завяжи мне, душка, «оттажки», – говорила, подойдя к моей постели, Таня Петровская, рябая, курносенькая брюнетка, удивительно, до смешного похожая на Гапку.

Я завязала ей передник красивым бантом и, полюбовавшись несколько секунд своим произведением, принялась натягивать на ноги грубые нитяные казенные чулки.

Фрейлейн Генинг, Булочка или Кис-Кис, как ее прозвали институтки, вышла из своей комнаты, помещавшейся на другом конце коридора, около девяти часов и, не дожидаясь звонка, повела нас, уже совсем готовых, на молитву. Дежурная пепиньерка Корсак, миниатюрная блондинка – «душка» Мани Ивановой, – особенно затянулась в свое серое форменное платье и казалась почти воздушной.

– Увидишь, ее выведут сегодня из церкви, – говорила Нина, с нескрываемым удивлением оглядывая осиную талию Корсак, – ее каждый раз выводят.

Слова Нины оправдались. Леночка Корсак не достояла и половины службы: ей сделалось дурно. Ее едва успела подхватить стоявшая у стула Кис-Кис и при помощи другой классной дамы вывела из церкви.

Обедня прошла с еще большей торжественностью, нежели всенощная.

В 12 часов мы уже шли завтракать. Воскресный завтрак состоял из кулебяки с рисом и грибами. На второе дали чай с вкусными слоеными булочками.

Тотчас после завтрака, когда мы не успели еще подняться в класс, раздался звонок, возвещающий о приеме родных.

На лестницу уже поднимались желанные посетители с разными тюричками и корзиночками для своих любимиц.

– Знаешь, – оживленно шептала Миля Корбина своей «паре» Даше Муравьевой, – сегодня тетя обещала мне принести в муфте пузырек горячего кофе.

– Смотри, как бы не поймали, – озабоченно шепнула серьезная не по летам Даша, или Додо, как ее прозвали институтки.

– Дежурные в приеме, в зал, – раздался голос оправившейся после обморока Корсак.

Несколько девочек, и в том числе княжна, вышли на середину класса. Это были наши «сливки», то есть лучшие по поведению и учению институтки.

– М-lle Корсак, позвольте мне вам сказать по секрету, – робко произнес гортанный голосок Нины.

– Говори, малютка, – и Корсак, любившая покровительствовать маленьким, обняла Нину и отошла с ней к сторонке.

– Мне хочется уступить мою очередь кому-нибудь, – просящим шепотом говорила княжна.

При всем моем желании услышать, что говорила Нина, я не могла, только видела, как глаза ее поблескивали да бледные щечки вспыхивали румянцем.

Корсак улыбкунула, погладила княжну по головке и перевела глаза на меня.

– Влассовская, – сказала она, – Джаваха передает свою очередь дежурства в приеме из-за вас. Если бы вы были назначены с ней, она не лишила бы себя этого удовольствия. Вы только что поступили, но я попрошу фрейлейн Генинг назначить и вас дежурить в приеме. Одна ваша дружба с Ниной говорит уже за вас.

И, поцеловав княжну, симпатичная девушка пошла просить за нас классную даму.

Кис-Кис, разумеется, согласилась, и мы, веселые, торжествующие, побежали в приемный зал.

– Право, она прелезая, эта Леночка Корсак, – говорила по дороге Нина, – и я жалею, что смеялась над ней. Знаешь, Галочка, мне кажется, что она вовсе не затягивается.

– Спасибо, – горячо поблагодарила я мою добрую подружку.

– Э, полно, – отмахнулась она, – нам с тобой доставит удовольствие порадовать других... Если б ты знала, Галочка, как приятно прибежать в класс и вызвать к родным ту или другую девочку!.. В такие минуты я всегда так живо-живо вспоминаю папу. Что было бы со мной, если бы меня вдруг позвали к нему! Но постой, вот идет старушка, это мама Нади Федоровой, беги назад и вызови Надю.

Я помчалась исполнять данное мне Ниной поручение. Когда я вернулась в зал, меня поразило шумливое жужжанье говора, по крайней мере, двух сотен голосов. Княжна подвинулась и дала мне место на скамейке у дверей, между собой и Дашей Муравьевой.

– Ты тоже дежуришь, привыкай, – со своим чуть заметным немецким акцентом шепнула мне фрейлейн Генинг и углубилась в вязание трехаршинного шарфа.

Невдалеке от нас сидела Маня Иванова со своим маленьким гимназистиком-братом. Она разделила принесенное им сестренке большое яблоко на две половины, и оба, смеясь и болтая, уплетали его. Еще дальше вялая Ренн, сидя между матерью и старшей сестрой, упорно молчала, поглядывая на чужие семьи, счастливые кратким свиданьем.

– Смотри, это к Ирочке, – воскликнула, вся вспыхнув, моя соседка, и, прежде чем я успела сказать что-либо, Ниночка приседала перед высоким седым господином почтенного и важного вида.

– Мадмуазель Трахтенберг сейчас выйдет, – произнесла она и бросилась звать свою «душку».

Постоянные посетители приема, увидя незнакомую девочку между всегдашними дежурными, спрашивали фрейлейн – новенькая ли я. Получив утвердительный ответ, они сочувственно-ласково улыбались мне.

Побежав вызывать кого-то из наших, я столкнулась в дверях 5-го «проходного» класса с княжной.

– Я отдала Ирочке твое письмо, будь покойна, оно будет сегодня же опущено в почтовый ящик... – шепнула она мне, вся сияющая, счастливая.

Снова бежала я в класс и снова возвращалась. Прием подходил к концу. Я с невольной завистью смотрела на разгоревшиеся от радостного волнения юные личики и на не менее довольные лица родных. «Если б сюда да мою маму, мою голубушку», – подумала я, и сердце мое замерло. А тут еще совсем близко от меня Миля Корбина, нежно прильнув к своей маме белокурой головенкой, что-то скоро-скоро и взволнованно ей рассказывает. И ее мама, такая добрая и ласковая, вроде моей, внимательно слушает свою девочку, тщательно и любовно приглаживая рукой ее белокурые косички...

Мне стало больно-больно.

«Больше полугода без тебя, моя дорогая мамуся», – горько подумала я и сделала усилие, чтоб не разрыдаться.

Прием кончился... Тот же звонок прекратил два быстро промелькнувшие часа свидания... Зашумели отодвинутые скамейки. Родители торопливо целовали и крестили своих девочек, и, наконец, зала опустела.

– Миля, давай меняться, апельсин за пять карамелек! – кричит Маня Игнатъева Миле Корбиной.

– Хорошо, – кивает та.

– Федорова, тебе принесли чайной колбасы, дай кусочек, душка, – откуда-то из-за шкапа раздается голос Бельской, на что Надя, податливая и тихенькая, соглашается без колебаний.

Мы идем в столовую.

Еще в нижнем коридоре передается отрадная новость: «Mesdam'очки, на третье сегодня подадут кондитерское пирожное».

Обед прошел с необычайным оживлением. Те, у которых были родные в приеме, отдавали сладкое девочкам, не посещаемым родителями или родными.

После молитвы, сначала прочитанной, а затем пропетой старшими, мы поднялись в классы, куда швейцар Петр принес целый поднос корзин, коробок и мешочков разных величин, оставленных внизу посетителями. Началось угощение, раздача сластей подругам, даже мена. Мы с Ниной удалились в угол за черную классную доску, чтобы поболтать на свободе. Но девочки отыскали нас и завалили лакомствами. Общая любимица Нина, гордая и самолюбивая, долго отказывалась, но, не желая обидеть подруг, приняла их лепту.

Надя Федорова принесла мне большой кусок чайной колбасы и, когда я стала отнекиваться, пресерьезно заметила:

– Ешь, ешь или спрячь, ведь я же не отказывалась от твоих коржиков.

И я, чтобы не обидеть ее, ела колбасу после пирожных и карамелей.

Наконец с гостинцами было покончено. Полуопустошенные корзины и коробки поставили в шкаф, который тут же заперла на ключ дежурная; пустые побросали в особый ящик, приютившийся между пианино и шкапом, и девочки, наполнив карманы лакомствами, поспешили в залу, где уже играли и танцевали другие классы.

Институтки старших классов, окруженные со всех сторон маленькими, прохаживались по зале.

Ирочка Трахтенберг, все с той же неизменной Михайловой, сидели на одной из скамеек у портрета императора Павла.

– Княжна, пойдите-ка сюда, – кликнула Михайлова Нину.

Но моя гордая подруга сделала вид, что не слышит, и увлекла меня из залы на маленькую лесенку, где были устроены комнатки для музыкальных упражнений, называемые «силюльками».

– Если б меня позвала Ирочка, я бы, конечно, пошла, – оправдывалась Нина, когда мы остались одни в крохотной комнатке с роялем и табуретом, единственной в ней мебелью, – но эта противная Михайлова такая насмешница!

И снова полилась горячая дружеская беседа. Из залы доносились звуки рояля, веселый смех резвившихся институток, но мы были далеки от всего этого. Тесно усевшись на круглом табурете, мы поверяли друг другу наши детские похождения, впечатления, случаи... Начало темнеть, звуки постепенно смолкли. Мы заглянули сквозь круглое окошечко в зал. Он был пуст...

– Пойдем, Галочка, мне страшно, – вдруг шепнула Нина, и ее личико сделалось мертвенно-бледным.

– Что с тобой? – удивилась и вместе встревожилась я.

– Потом, потом, скорее отсюда! Расскажу в дортуаре.

И мы опрометью кинулись вон из силулек.

В тот же вечер я услышала от Нины, что наш институт когда-то, давно-давно, был монастырем, доказательством чего служили следы могильных плит в последней аллее и силульки, бывшие, вероятно, келейками монахинь.

– Не раз, – говорила Нина, – прибегали девочки из силулек все дрожащие и испуганные и говорили, что слышали какие-то странные звуки, стоны. Это, как говорят, плачут души монахинь, не успевших покаяться перед смертью. А раз, это было давно, когда весь институт стоял на молитве в зале, вдруг в силуляках послышался какой-то шум, потом плач и все институтки, как один человек, увидели тень высокой, черной монахини, которая прошла мимо круглого окна в коридорчик верхних силулек и, спустившись с лестницы, пропала вниз.

– Ай, замолчи, Нина, страшно! – чуть не плача, остановила я княжну. – Неужели ты веришь в это?

– Я? Понятно, верю, – и, подумав немного, она прибавила задумчиво: – Конечно, потому что иногда я сама вижу мою покойную маму...

– Джаваха, дай спать, ты мешаешь своим шептанием, – нарушила тишину дортуара Бельская.

Скоро весь дортуар затих, погруженный в сон.

Мне было невыразимо жутко. Я натягивала одеяло на голову, чтоб ничего не слышать и не видеть, читала до трех раз «Да воскреснет Бог», но все-таки не выдержала и улеглась спать на одну постель с Ниной, где тотчас же, несмотря ни на какие страхи, уснула как убитая.

Глава IX

Вести из дому. Подвиг Нины

Проходили дни и недели со дня моего поступления в институт.

Однажды, когда мы собирались спускаться завтракать, в класс вошел швейцар.

Появление швейцара всегда особенно волновало сердца девочек. Появлялся он единственно с целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприемный час к посетившим ее родственникам. Поэтому один вид красной, расшитой галунами ливреи заставлял замирать ожиданием не одну юную душу.

На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошел. Кис-Кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко испи-санного листка, громко позвала меня:

– Влассовская, du hast einen Brief von deiner Mama bekommen (тебе письмо от твоей мамы).

Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками.

Письмо было действительно от мамы.

«Деточка ненаглядная! – писала моя дорогая. – Долго не писала тебе, так как Вася был очень болен: бедняжка схватил корь и пролежал две недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далекую сестренку. Даже в бреду он поминутно кричал: „Люда, Люда, позовите ко мне Люду“.

Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни... Поблагодари и крепко поцелуй от меня твою милую маленькую княжну за те заботы, которыми она окружила тебя. Бог да воздаст сторицей доброй девочке!

У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь заготавливаем к зиме капусту. Пшеницу – увы! – продала не всю, и вряд ли мне придется увидеть тебя до лета, моя ясочка; ты знаешь, что наши средства так скромны.

Тебя крепко-крепко целуют няня и Вася; он просит переслать тебе вот этот цветок настурции, чудом уцелевший на клумбе. Гапка, Ивась, Катря – словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василя; он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи.

Пусто в нашем хуторе с твоего отъезда, моя деточка; даже Милка приуныла и долго искала тебя по саду и двору; теперь она не отходит от Васи и все время его болезни пролежала у кровати нашего мальчика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.